



# Содержание

Свидетель	7
Новый Свет	12
Завет	18
Темно-бархатная роза	25
Порог	30
Выбор поэта	36
И единственный взгляд	40
Голубоватый пол	46
Крошка Цахес	56
Английская школа — это я	63
Крест-накрест, туда-сюда, взад-вперед...	70
Незамкнутый хоровод	73
Уезжала и возвращалась	83
«Рожденные в года глухие...»	90
Сцена обольщения	98

История болезни	101
Ручаюсь за тебя...	110
Изгнание из рая	127
Последний день театра	143
Скверна	156
Оборотни	165
Остатки торта, который ели все...	174
Язык материнской ненависти	180
Выстрел	183
Сила и слава	190
Изрезанная луковка	201

## Свидетель

Теперь, когда мне сорок и деятельная часть моей жизни, если верить мудрецам, заканчивается и сменяется созерцательной, я, в здравом уме и твердой памяти, которыми она в себе гордилась, смиренно приступаю к описанию ее жизни, меньшая часть которой прошла на моих глазах, а бóльшая известна по ее рассказам, что в *данном случае* является достоверным источником. Однако едва начав, то есть решительно высказав то, что я высказала, я чувствую необходимость пуститься в объяснения, поскольку первая же моя длинная, но все-таки сравнительно лаконичная фраза уже прорастает вглубь чуть ли не каждым словом. Пускает корешки. Возможно, виною тут мой характер, а может быть, само созерцание, на

## Елена Чижова

которое претендует мой возраст. Похоже, оно не чуждается воображения, способного превратить мою первую и слишком длинную фразу в подобие торфяного горшочка, куда незадолго до Пасхи, расковыряв почву пальцем, опускают пшеничные зерна, чтобы они успели прорасти и укорениться к Празднику. Слово — зернышко со своим верхком и корешком.

А может быть, меня выдает привычка сравнивать себя с нею — привычка абсолютно незаконная, в чем я отдаю себе отчет. Эта привычка укоренилась настолько, что я сама (и никакие фразы и слова здесь ни при чем) стою проросшим зерном, на лопнувшей шкурке которого запечатлелись ее пальцы. Проросшим, но так и не заколосившимся. А впрочем, кто же дожидается колоса от пасхального зерна! Чтобы заколоситься, надобно быть брошенным в настоящую полевую почву, чреватую жизнеспособными сорняками, чтобы, схватившись с ними под настоящим — живительным и жестоким — солнцем, выиграть, выбросив колос, или проиграть. Это и есть та самая деятельная жизнь, на которую люди тратят самые восхитительные свои годы, чтобы, перевалив за мой нынешний рубеж, с горечью или гордостью оглядываться на прожитое: предаваться заслуженному созерцанию, жалея о несбывшемся или удовлетворяясь сбывшимся. Ни то ни другое мне не доступно.

И все-таки я не хочу, чтобы кого-то ввело в заблуждение мое признание в том, что мне не до-

сталось солнца. Мне досталось другое солнце. Мои вершки стоят под другими, жесткими лучами, и мою жизнь никак, разве что с долей горьковатого юмора, нельзя назвать идиллической. Если и можно заикнуться об идиллии, то ровно в той степени, в которой она сама идиллию допускала. Большой же частью не допускала вовсе — с жесткостью, которую на бумаге трудно соединить с ее деликатностью. В жизни же они соединялись накрепко: стояли в первом — под замковым камнем — ряду кладки. Я не стану доискиваться до причин, по которым моим корням не досталось полевой земли. С меня довольно и того, что я и понимаю, и принимаю незаслуженность созерцания, которому готовлюсь предаться в силу своего нынешнего возраста. Пусть уж лучше продолжится мое сравнение с пасхальным ростком: видно, в торфяных горшочках попадают и зерна-двойчатки, прорастающие двойными ростками — гордости и горечи.

Она никогда не учила меня смирению. Наверное, это единственное, чему она никогда не взялась бы меня научить. Сама-то она ни в малейшей степени смиренной не была. Если бы она знала, чем кончится дело со мною, она, не тратя лишних слов, просто прищипнула бы оба ростка. Случись так, и они никогда не сплелись бы в один, в одно: смирение. Она просто не успела сделать этого, а потому так уж и вышло, что именно она, ее неуспевшие пальцы научили меня смирению, тогда как все другие, действовавшие

## Елена Чижова

со мной не мытьем, так катаньем, потерпели на этой стезе поражение.

Теперь об одной странности, о которой я вынуждена упомянуть: мне больше не дается ее имя. Отношу это исключительно на свой счет. Сотни уст после первой, не всегда удачной попытки с привычной легкостью произносили ее имя и не утратили этой способности до сих пор. Мои же, долгие годы не бывшие исключением, теперь замкнулись, оставив себе местоимение, а руке передав одну букву Ф., хотя глазам, читавшим ее открытки, привычнее — F. Так она подписывала их до того последнего дня, когда, взяв вместо открытки свою фотографию, изменила подпись.

Розоватая, цвета зари, кипень сирени — с каждым годом все шире забирающий куст под ее балкончиком, маленьким, как и вся квартирка. Пустой балкон, выкрашенный белым, на котором она стояла, провожая меня. Очень маленькая, в розоватой широкой кофте. Перед этим мы разговаривали о чем-то, и теперь, когда я, уходя, обернулась, она, продолжая разговор, крикнула, чуть-чуть наклоняясь над перилами: «I am a witness»\*, — и быстро-быстро принялась ударять себя в грудь.

Если понадобится, я сумею вспомнить весь разговор, но *помню* только одну ее фразу. Перед самым моим уходом разговор шел (теперь я уже вспомнила) о самом обыденном, а значит, мы

\* «Я — свидетель» (англ.).

разговаривали по-русски. Верхние же, балконные слова она произнесла по-английски. Значит, самое простое объяснение — язык. Сказанное ею по-английски я всегда запоминала накрепко. Она одинаково совершенно владела обоими языками, но русская ее речь была как будто слегка размыта по краям, как акварель.

Английская же походила на тонкий и изысканный рисунок пером. А поскольку за исключением нескольких школьных лет я никогда не отвечала ей по-английски, может быть, опасаясь повредить тонкие перьевые линии, наши диалоги частенько бывали англо-русскими: мое русское масло и ее английский — тонкий рисунок — по-верху.

Значит, пусть так и будет — пусть двуязычие будет причиной, по которой я снова и снова вспоминаю тот балкон, а вслед за ним и те места, где она, мне хочется сказать, останавливалась. Нет, она их украшала, ее стены не были голыми, но теперь, по прошествии лет, я помню их пустыми, как белый экран. Беловатую гладь полотна оживляло ее присутствие. Теперь, когда фильм кончился, экран пуст.

Поэтому я вижу и буду видеть: белый балкон, кривая балконная дверь, косой шкафчик, над которым она смеялась: подносила руку ко лбу английским жестом «сrazy»\*. Глаза мои не застит, мои плохие глаза. Досуха, до красноты, до чер-

\* Шаткий, нездоровый, безумный (*англ.*).



Елена Чижова

ных мух, до белого тополиного пуха, до желтых снежинок над пустырями. I am a witness. Свидетели не плачут. Они стоят на белых балконах, на самых крайних этажах.

## Новый Свет

Ее мать была дворником и так и не научилась хорошо говорить по-русски. И то и другое, учитывая ее национальность, было в петербургской традиции. Поэтому русский язык, на котором говорили все вокруг, и в квартире, и во дворе, был для дочери не то чтобы не родным — иным. Над ее колыбелью звучал родной язык ее матери. Русский был родным *не отродясь*, он стал родным. С дочерью мать разговаривала на своем родном, но дочь, войдя в сознательный возраст, то есть лет с шести, отвечала ей только по-русски. Ей казалось, из упрямства. Если и так, это было особое упрямство, не имеющее ничего общего с обычным — дочерним. Язык диктовало окружение. Явление, знакомое эмигрантам и их детям, знающим это упрямство.

Ее мать родилась в далекой нерусской деревне и не называлась эмигранткой только потому, что и Петербург, и ее родина входили в одну империю и к моменту рождения матери никто из живых за это уже не отвечал. И все-таки *в какой-то степени* ее мать была эмигранткой, учитывая то, что так хорошенько и не выучила имперского

языка, а значит, вряд ли могла рассчитывать на более чистую и легкую работу. Дочь ни исторически, ни по сути дела эмигранткой не была, однако жизнь матери, похожая на эмигрантскую, не могла не наложить отпечатка на ее жизнь. Они жили — здесь вступает в силу уже не петербургская, а ленинградская традиция — в маленькой комнате в большой полуподвальной коммунальной квартире. Жизнь матери, похожая на эмигрантскую, заставляла дочь быть начеку: она была ушами матери в окружающем мире. Мать не могла разобрать того, что шепталось, буркалось скороговоркой, говорилось «в воздухе» на коммунальной кухне. Конечно, мать не просила, а дочь не передавала ей чужих разговоров, но если в обычных — одноязычных — семьях ребенок не прислушивается к разговорам чужих взрослых, молчаливо полагаясь в этом на родителей, здесь, в языковом смысле, дочь не могла положиться на мать. В мире, говорящем на языке, не вполне ей доступном, мать не могла быть посредницей между дочерью и миром. Дочь выходила с миром один на один. Она была младше и должна была разговаривать с миром на его языке.

В то же время мир открывался перед нею безбрежностью русского языка, с которым она без материнского посредничества выходила один на один, и русский язык сам становился миром. Он был всего лишь частью огромного мира, но тогда она об этом не подозревала, как Колумб, мир

которого, в силу ограниченности знаний европейцев, не доросших до нужного исторического возраста, не включал в себя обеих Америк. Колумб шел к другим, виданным берегам, но открыл невиданный берег. Однако радость, заключенная в крике «Земля!», была остра и не зависела от того, к какой земле она подходила. Это была радость земли *в чистом виде*. Ей, выросшей в *такой* семье, была знакома *эта* радость. В шесть лет она нашла книгу Чосера «Кентерберийские рассказы», в переводе на русский. Шла предвоенная зима 1940 года. Прочитав, она испытала радость и поняла, что Чосера должны узнать все. Она была маленькой и по возрасту, и по сложению, и ей приходилось вставать на кухонную табуретку — где еще кроме кухни она могла читать *всем*, чтобы они слушали и смеялись. Она читала им так, как Колумб рассказывал согражданам о невиданных землях, которые он увидел, об открытом им Новом Свете. Мне кажется, они слушали вполуха, потому что ни на секунду не прекращали своей копотни: разжигали деревянную плиту, с хрустом отщепляя лучины, кипятили белье в баках и терли его в тазах, шевелили картошку на сковородках и громко мыли в раковине посуду. Я думаю, что никто из них не отвернулся от своего таза или бака, чтобы повернуться к ней, сесть и слушать. Однако она не обижалась на них, потому что независимо от того, какой мир она для них открывала, они сами со всеми их тазами, баками

и сковородками — тоже были ее когда-то большим миром, от которого она уходила на «Святой Марии» и возвращалась вновь. Если бы она не уходила от них и к ним же не возвращалась, она никогда бы не догадалась о том, что, прежде чем стать Марией, надо долго и терпеливо быть Марфой. Так она начинала: под грохот тазов, шкварчание картошки, гул поленьев в печи. Зима 1940-го была шумной.

Внимательная тишина, достойная Чосера, наступила на следующий год. Постепенно, от месяца к месяцу, стихали голоса и тазы, гул печи исчезал из голодной памяти, и треньканье капель о железную раковину сменилось мерным капаньем метронома. Той же зимой она прочла «Капитанскую дочку» — про себя. Там ей встретились сияющие глаза, которыми она зачаровалась. Об этих глазах она не могла читать им вслух: у блокадников было свое представление о сияющих глазах. Как и у соотечественников Колумба, у которых было свое представление о сиянии — золота. Она голодала, пила кипяток и становилась обманчиво пухлой. На этот обман попался страшный мужик с сияющими глазами, от которого она бежала по пустырю. У блокадников было правильное представление о сиянии.

Закончив школу — о ее школьных годах я почти ничего не знаю, — она, наученная тем, что чужие правильные представления все равно остаются чужими, решила поступать в университет. Это решение было чудовищным прыжком из